

---

---

## Н. Н. Страхов

(1828—1896)

В истории общественного сознания вообще и в истории литературы в частности есть деятели, которые, внешне вроде бы не выходя на первый план, играют роль гораздо более существенную, чем принято обычно думать. Так, вряд ли может быть всесторонне понято второе полу столетие в развитии русской литературы XIX века, с центральными для него фигурами Достоевского и Толстого, без учета жизни и деятельности Николая Николаевича Страхова. «Да, половина моих взглядов — Ваши взгляды» \*, — сказал Страхову Достоевский. Правда, сообщил об этом сам Страхов. Но возможное подозрение в преувеличении отпадает, если мы учтем хотя бы то, что писал Страхову другой его великий современник, правда, в меньшей мере, чем Достоевский, соратник, но, может быть, еще в большей мере друг, — Лев Толстой: «Нынче я говорил жене, что одно из счастлих, за которое я благодарен судьбе, это то, что есть Н. Н. Страхов» \*\*. Это писалось вскоре после их состоявшегося в 1871 году знакомства (переписка Толстого со Страховым завязалась немного раньше), а именно в сентябре 1873 года. Через четыре года Толстой назовет Страхова единственным духовным другом \*\*\*. И это понятно: ведь еще через много, почти

---

\* Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. СПб., 1883. С. 238.

\*\* Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 20 т. М., 1965. Т. 17. С. 89.

\*\*\* Там же. Т. 18. С. 78.

через двадцать лет, он снова скажет о сближении со Страховым «самыми основами»<sup>\*</sup>.

Человек устойчиво консервативных взглядов, принимавший активное участие в бурных журнальных полемиках 60-х годов прошлого века, Страхов и тогда, и позднее неизменно занимал правые позиции, выступая постоянным оппонентом революционно-демократических критиков. Кстати, и отношения его с Толстым и Достоевским тоже отнюдь не были идиллическими, предполагали расхождения, иногда длительные, и рождали споры, подчас резкие.

Деятельность Страхова была разнообразной, но известен он прежде всего как литературный критик. Эта критика, естественно, тесно связана с его общемировоззренческими основами и с позицией, которую он занимал в общественной борьбе того времени. Что же внес Страхов в русскую критику? Что позволяет увидеть и понять в общественно-политических боях и литературных столкновениях прошлой эпохи, чем интересна, поучительна его литературно-критическая деятельность?

Русская литература в пору становления национального сознания после 1812 года рождала ряд громадных обобщающих явлений. Так было в самых разных сферах и на разных уровнях: Крылов — в басне, Грибоедов — в драме, Кольцов — в песне. И, конечно, все так или иначе к себе сводящий и все покрывающий — Пушкин. Пушкин же определил и дальнейшее развитие русской литературы, уже всю ее, пусть иногда в зерне, в зародыше, в наброске, в себе заключая. «Он, — писал Страхов, — один есть полный образ русской души, но лишь в очерке, без красок, которые лишь потом являются в пределах его очертаний»<sup>\*\*</sup>. Последующее художественное развитие будет и более сложным, и более дробным, и более противоречивым.

В пушкинскую эпоху все подлинно великие писатели в общем стоят по одну сторону. В послепушкинскую определились такие противостояния, когда мы видим часто и по многим пунктам разведенных, например, Некрасова и Фета. Добролюбов в понимании и истолковании написанного Тургеневым романа «Накануне» решительно расходится с самим Тургеневым. Достоевский оказывается энергичным оппонентом Добролюбова и т. д. и т. п. Тем не менее те же Некрасов и Фет сознают единую, от Пушкина идущую родословную, каждый не без основания претендует на часть пушкинского наследия.

<sup>\*</sup> Там же. Т. 18. С. 78.

<sup>\*\*</sup> Цит. по: Сочинения Аполлона Григорьева. СПб., 1876. Т. 1. С. VIII.

Нечто подобное, конечно в иной форме и степени, но все же имело место и в русской критике. При начале новой русской критики, великой критики великой литературы, стоит колоссальная фигура Белинского. Он стал для нашей критики тем, чем был Пушкин для русской литературы, он был Пушкининым нашей критики. Многие явления русской критической мысли оказались в пору обострившейся социальной борьбы середины века разведенными и противостоящими. Проще обстоит дело с пониманием позиции критиков однозначно реакционных, подчас откровенно репгильных. Но все усложняется, когда мы подходим к таким фигурам, как Страхов и Дружинин, подходим с желанием понять, в частности, и их отношение к Белинскому.

Естественно и справедливо мы видим наследников Белинского и продолжателей дела Белинского прежде всего в Чернышевском и Добролюбова. Сами они это осознавали отчетливо и подтверждали энергичной пропагандой идей Белинского, его имени, его образа — достаточно вспомнить цикл статей Чернышевского «Очерки гоголевского периода русской литературы», который отведен в большей своей части именно Белинскому. Но и многие деятели, не только не принадлежащие к революционным демократам, но им противостоящие, тоже претендовали на верность памяти Белинского, на право наследования ему. Недаром Тургенев демонстративно посвятил свой, как полагали, направленный против «Современника» с его обновленной демократической редакцией роман «Отцы и дети» памяти Белинского.

Конечно, во многих относящихся к Белинскому признаниях некоторых либеральных деятелей была своя корысть, желание приспособить Белинского к себе, осенить себя его именем, истолковать его в своем духе, подчас прямо извращая. Но не только. Критики и этого толка реально наследовали Белинскому. В чем, где и когда?

Например, за тем противопоставлением Пушкина Гоголю, которое возникло в критике середины прошлого века, ясно просматривается и реальное противостояние общественных сил. К пятидесятым годам уже стало меньше ощущаться живое, злободневное содержание пушкинской поэзии. Но все явственнее стали вырисовываться ее громадные, как бы вневременные масштабы — сравнения с Шекспиром, с Гёте мелькали все чаще и уже перестали вызывать удивление. Все это рождало дополнительный энтузиазм одних и сравнительное охлаждение других, доходившее позднее уже и до прямого отрицания Пушкина (у Д. Писарева, В. Зайцева). Безмерность содержания пушкинских творений стала иной раз пониматься как их бессодержательность. И сам Бе-

линский будет подвергаться нападкам, например, со стороны Писарева, прежде всего в статье «Пушкин и Белинский», за то, что занимался «бессодержательным» Пушкиным. Уже статьи о Пушкине Чернышевского сдержанны. Это, очевидно, и заставило Некрасова написать Дружинину: «Я ужасно жалею, что эти статьи (статьи Дружинина о Пушкине — Н. Ск.) не попали в «Современник» — они могли бы быть в нем и при статьях Чернышевского, которые перед ними, правда, сильно бы потускнели» \*. Тогда же Некрасов заявил об этих статьях Дружинина печатно: «Вот статьи, каких мы желали бы как можно более, вот какова должна быть русская критика» \*\*. Вместе с тем, говоря о толкованиях Дружининым Гоголя, тот же Некрасов напишет: «Дружинин просто врет и врет безнадежно» \*\*\*.

В желании, опираясь на «вечный», «абсолютный» смысл пушкинской поэзии, принизить живое, злободневное содержание современного литературного движения у Дружинина прямо заявляет себя позиция испугавшегося такого движения и отгораживающегося от него либерала. Но в понимании и ощущении «вечного», «абсолютного» смысла самой пушкинской поэзии Дружинин был во многом прав. И здесь он реально наследовал Белинскому, а кое в чем, например, в понимании позднего Пушкина и его мирового значения, пытался пойти далее. Во всяком случае, Белинский многому научил наших очень разных критиков: понимать Гоголя... понимать Пушкина...

Страхов полагал, что истинным создателем русской критики был Аполлон Григорьев. Но сам-то Григорьев думал об этом иначе. Единственным русским писателем, к которому он прилагал слово «гениальный», был Пушкин. И единственным критиком — Белинский — «гениальный человек», «призванный»: «Литература была за него, оправдывала его доктрины, потому самому, что он ее угадывал, определял с удивительной чуткостью ее стремления, разъясняя ее, как Гоголя и Лермонтова. Говоря о литературе нашей, — а она долго была, повторю я, единственным средоточием всех наших высших интересов, — постоянно бываешь поставлен в необходимость говорить и о нем. Высокий удел, данный судьбою немногим из критиков! — едва ли, за исключением Лессинга, данный не одному Белинскому. И дан судьбою этот удел совершенно по праву» \*\*\*\*.

\* Некрасов Н.А. Полн. собр. соч. и писем: В 12 т. М., 1952. Т. 10. С. 230.

\*\* Там же. Т. 9. С. 291.

\*\*\* Там же. Т. 10. С. 247.

\*\*\*\* Григорьев Ал. Сочинения. СПб., 1876. Т. 1. С. 578—579.

Интересно, что Григорьев ощутит именно необычайную широту диапазона деятельности Белинского: «Если бы Белинский прожил до нашего времени, он и теперь бы стоял во главе критического сознания, по той причине, что сохранил бы высшее свойство своей натуры: способность закоснеть в теории, против искусства и жизни» \*.

Белинский, подобно Пушкину, особенно в «пушкинские», тридцатые годы, многое в себе синтезирует, заключает, еще объединяет то, чему скоро предстоит разъединиться. Недаром Григорьев часто ставит рядом имена Пушкина и Белинского, например, в связи с первыми повестями Гоголя, которые поняли, «во-первых, Пушкин, а во-вторых,— автор „Литературных мечтаний“», то есть Белинский.

Кстати сказать, последователь и ученик Григорьева, Страхов тоже настаивал на необходимости обращения не только к Пушкину, но и к Белинскому (в статье 1861 г. «Нечто о „полемике“» он называет лишь эти два имени в числе тех немногих, кто «все понимал») и сам по сути в целом ряде пунктов повторил Белинского в своих пушкинских статьях. Страхов — наследник великого критика и в лучших своих статьях о Тургеневе, о Достоевском и, конечно, о Льве Толстом. И это при том, что Страхов, как и его учитель Аполлон Григорьев, разумеется, оказывается противником многого у Белинского и в принципе, и в конкретных оценках, особенно у Белинского конца 40-х годов, Белинского — революционного демократа и материалиста.

Родился Николай Николаевич Страхов 16 октября 1828 г. в Белгороде, входившем тогда в состав Курской губернии. Отец его, священник, был магистром богословия и профессором Белгородской семинарии, где преподавал словесность. Он умер, когда Страхову было шесть или семь лет. Вскоре после смерти отца мальчика увезли к дяде, ректору семинарии, в Каменец-Подольский. В 1839 году он поехал за дядей в Кострому, куда тот был переведен ректором тамошней семинарии. В Костромскую семинарию Страхов и поступил учиться в 1840 году первоначально на отделение риторики, а затем философии. Таким образом, начальное образование (и даже самое начальное — один год Страхов проучился еще в Белгороде в местном духовном училище) было сугубо религиозное — и в семье, и в школе.

Семинария помещалась в Костромском Богоявленском монастыре. Страхов в своей автобиографии рассказывал: «Это был беднейший и почти опустевший монастырь: в нем было, кажется,

---

\* Григорьев Ал. Сочинения. Т. 1. С. 579.

не более восьми монахов, но это был старинный монастырь, основанный еще в XV веке. Стены его были облуплены, крыши по местам оборваны, но это были высокие крепостные стены, на которые можно было выходить, с башнями по углам, с зубцами и бойницами по всему верхнему краю.. Везде были признаки старины: тесная соборная церковь с темными образами, длинные пушки, лежавшие кучей под низким открытым сводом, колокола со старинными надписями. И прямое продолжение этой старины составляла наша жизнь: и эти монахи со своими молитвами, и эти пять или шесть сотен подростков, сходящихся сюда для своих умственных занятий. Пусть все это было бедно, лениво, слабо; но все это имело определенный смысл и характер, на всем лежала печать своеобразной жизни. Самую скудную жизнь, если она, как подобает жизни, имеет внутреннюю цельность и своеобразие, нужно предпочесть самому богатому накоплению жизненных элементов, если они органически не связаны и не подчинены одному общему началу» \*.

Страхов, в отличие от многих выпускников семинарий, так обильно пополнивших в середине прошлого века ряды материалистов и безбожников, навсегда остался человеком, преданным религиозным догматам. Именно догматам. Вера эта, судя по всему, была непоколебимой, какой-то школьно-семинарской, по-бурсацки вдолбленной и навсегда такой оставшейся — безусловной, бесспорной и безвопросной.

Религия, опять-таки судя по всему написанному Страховым, в отличие, например, от Достоевского, никогда не испытывалась им изнутри. Что-то вроде монашества, кстати сказать, определило в дальнейшем весь внешний образ жизни Страхова, ее ритм и стиль. В одном из писем уже в конце жизни он наставляет одного своего молодого адресата: «... Вы не только хорошо пишете и обладаете большой гибкостью ума, но... сверх того, лихорадочно возбуждены и рветесь к истине и к тому, чтобы сейчас же заявить свои мысли... Зачем Вам разбрасываться и истощать свои силы в порывистое писание и чтение. Если бы было в моей власти, я бы предписал Вам, во-первых, — регулярный образ жизни, а во-вторых, чтение хорошей немецкой философской книги. Настоящее образование и настоящая зрелость мысли не достигаются в 3—4 года, а только в десятки лет». Сам Страхов десятки лет вел такой «регулярный образ жизни» — бессемейный, ничем не отвлекаемый, и ни на что не рассеиваемый, посвященный только книгам, — особенно с 1873 года, когда он стал работать в Публичной

\* *Никольский Б. В.* Николай Николаевич Страхов. СПб., 1896. С. 4.

библиотеке. «Когда бывало,— вспоминал Страхов,— случалось мне объявлять свой чин статского советника, то это всегда производило благоприятное впечатление, когда потом оказывалось, что я служу в библиотеке, то это значительно охлаждало внимание, возбужденное моим чином» \*. Сама квартира его напоминала чуть ли не келью простотой и бедностью. Довольно скудное содержание уходило на книги, составившие, наконец, уникальную библиотеку \*\*. Когда при выходе в отставку Страхов был награжден звездой, он, по воспоминаниям современника, горестно воскликнул: «Ну, где я найду 60 рублей?» (за орден). Подобно другому знаменитому библиотекарю (Н. Федорову) другой знаменитой библиотеки (Румянцевской), Страхов был рыцарь книги, ее подвижник.

Из семинарии Страхов вынес глубокое патриотическое чувство. Может быть, сказало здесь и то, что Кострома издавна, еще с 1612 года, с сусанинских времен, почиталась одним из центров русского патриотизма, естественно, по-разному разными людьми: официально — монархически и неофициально, например, декабристы. «В нашем глухом монастыре мы росли, можно сказать, дети России,— писал Страхов.— Не было сомнения, не было самой возможности сомнения в том, что она нас породила и питает, что мы готовимся ей служить и должны оказывать ей всякий страх и всякую любовь... Настоящий, глубокий источник патриотизма есть преданность, уважение, любовь — нормальные чувства человека, растущего в естественном единении со своим народом. Хорошо или дурно, много или мало, но именно эти чувства воспитывала в нас наша бедная семинария». Именно безусловность веры в Россию и любви к России отличала страховский патриотизм. Он часто в разное время и по разным поводам цитировал стихи Тютчева:

Умом Россию не понять,  
Аршином общим не измерить:  
У ней особенная стать —  
В Россию можно только верить.

Но в отличие от религиозного, патриотическое чувство Страхова подвергалось испытаниям. «С детства я был воспитан в чувствах безграничного патриотизма, я рос вдали от столиц, и Россия всегда являлась мне страной, исполненной великих сил, окруженную несравненной славой: первую страной в мире, так что я в точном смысле слова благодарил Бога за то, что родился русским. Поэтому

\* Страхов Н. Н. Воспоминания и отрывки. СПб., 1892. С. 2—3.

\*\* См.: Белов С., Белодубровский Е. Библиотека Н. Н. Страхова // Памятники культуры: Новые открытия: Ежегодник, 1976. М., 1977. С. 134—141.

я долго потом не мог даже вполне понимать явлений и мыслей, противоречащих этим чувствам; когда же я, наконец, стал убеждаться в презрении к нам Европы, в том, что она видит в нас народ полуварварский и что нам не только трудно, а просто невозможно заставить ее думать иначе, то это открытие было мне невыразимо больно, и боль эта отзывается до сегодня. Но я никогда и не думал отказываться от своего патриотизма и предпочесть родной земле и ее духу — дух какой бы то ни было страны» \*.

Страхов не был апологетом официального патриотизма, заско-рузло-националистического отношения к жизни. Он умел трезво смотреть на русскую действительность, вступал в противоречие и с догматами казенного русофильства, и с догматами неказенного и потому, может быть, менее жесткого, но более наивного славянофильства.

Наконец, еще с детских лет Страхов вынес величайшее уважение к науке и преданность ей. Сам он, кстати, относил это не на свой счет, а опять-таки на счет все той же убогой семинарии: «Мне странно вспоминать однако, что несмотря на наше бездельствие, несмотря на повальную лень, которой предавались и ученики и учащие, какой-то живой умственный дух не покидал нашей семинарии и сообщился мне. Уважение к уму и науке было величайшее; самолюбия на этом поприще разгорались и соперничали беспрестанно; мы принимались умствовать и спорить при всяком удобном поводе; писались иногда стихи, рассуждения, передавались рассказы об удивительных подвигах ума, совершавшихся архиереями, в академиях и т. д. Словом, у нас господствовала очень живая любовь к учености и глубокомыслию, но, увы, любовь почти совершенно платоническая, только издали восхищающаяся своим предметом».

Впрочем, молодой Страхов быстро предпринял усилия, направленные к тому, чтобы любовь эта перестала быть платонической, и самостоятельно стал еще в семинарии готовиться к университетскому экзамену. В 1845 году он поступил вольнослушателем по камеральному (мы бы теперь сказали — по юридическому) факультету Петербургского университета, но уже летом того же года, после вступительного экзамена, перешел на математическое отделение. Очень рано определилась тяга Страхова к точным наукам, особенно к естественным. «Мне хотелось, собственно изучать естественные науки, но я поступил на математику, как на ближайший к ним предмет, чтобы иметь возможность получать стипендию, и получал ее — по 6 рублей в месяц». Впрочем, к естествен-

\* *Никольский Б. В.* Николай Николаевич Страхов. С. 248.



ным наукам Страхов обратился и по причинам, так сказать, «метафизическим».

Юноша уже в университете окунулся в ту студенческо-разночинную среду, которая питала идеи революционности, атеизма, материализма и, в свою очередь, питалась ими: «В знаменитом университетском коридоре мне доводилось слышать то рассуждение о том, что вера в Бога есть непростительная умственная слабость, то похвалы системе Фурье и уверения в ее непременно осуществлении. А мелкая критика религиозных понятий и существующего порядка была ежедневным явлением. Профессора редко позволяли себе вольнодумные намеки и делали их чрезвычайно сдержанно, но товарищи тотчас же объясняли мне смысл намеков. Один из университетских моих приятелей был очень хорошим моим руководителем в этой области. Он объяснял мне направления журналов, растолковывал, какой смысл придается стихотворению «Вперед, без страха и сомненья», рассказывал суждения и речи более зрелых людей, от которых сам научился этому вольнодумству».

Таким образом, можно сказать, что по происхождению своему, по образованию, по связям Страхов был типичный разночинец, но отнюдь не по той идеологии, которую в дальнейшем стали часто называть разночинской и которая в самом своем радикальном выражении предстала как революционно-демократическая.

Уже очень рано позиция Страхова и для него самого определилась как антинигилистическая, причем термин «нигилизм» у Страхова, как, впрочем, и в большей части консервативной критики и публицистики, приобретает разнообразный смысл: это и вообще всякое европейское общественно-политическое и интеллектуальное движение, основанное на идеях революции, социализма, даже просто на началах либеральности и прогресса, но прежде всего, конечно, это русская революционная демократия. Страхов попытался обосновать свою позицию научно и не только в сфере отвлеченных построений: «Отрицание и сомнение, в сфере которых я попал, сами по себе не могли иметь большой силы. Но я тотчас увидел, что за ними стоит положительный и очень твердый авторитет, на который они опираются, а именно — авторитет естественных наук. Ссылки на эти науки делались беспрерывно: материализм и всяческий нигилизм выдавались за прямые выводы естествознания, и вообще, твердо исповедовалось убеждение, что только натуралисты находятся на верном пути познания и могут правильно судить о самых важных вопросах. Итак, если я хотел «стать с веком наравне» и иметь самостоятельное суждение в разногласиях, которые меня занимали, мне нужно бы-

ло познакомиться с естественными науками. Так я и решил сделать, ни за что не отступал от своего решения и понемногу привел его в исполнение. Хотя математический факультет — ближайший к естественному, мне очень жаль было такого отклонения от прямой линии. Но дело потом поправилось». Внешне, правда, «дело поправилось» своеобразно. Сначала оно совсем расстроилось. В результате ссоры с дядей юноша, по жалобе того к попечителю, лишился и жилья, и стипендии и, наконец, вынужден был уйти из университета, точнее, перейти в Главный педагогический институт на казенное содержание.

Сравнительно с университетом физико-математический цикл здесь сочетался с естественными предметами. К тому же в конце 40-х годов в Главном педагогическом институте (а Страхов поступил туда в январе 1848 г.) работала группа видных ученых-естественников. По окончании института Страхов написал, а через несколько лет и опубликовал свою первую и единственную по математике научную работу «Решение неравенств 1-й степени»<sup>\*</sup>. Собственно научная деятельность была временно прервана, ибо нужно было отрабатывать институтское «казенное содержание» в течение восьми лет учителем. С 1851 года Страхов преподает физику и математику в одесской гимназии, а с 1852 года естествознание во 2-й петербургской гимназии. Тем не менее за время этой службы он сумел сдать магистерские экзамены и в 1857 году защитил диссертацию по зоологии «О костях запястья млекопитающих»<sup>\*\*</sup>.

Страхов неизменно выступал как активный пропагандист естественнонаучных знаний. «Естественные науки,— писал он,— имеют тройкий интерес: как полезные в практике, как удовлетво-

\* Через много лет великий Менделеев отметит: «Достаточно вспомнить — хотя бы только примера ради — между физико-математиками И. А. Вышеградского, Н. Н. Страхова и К. Д. Кравченко, чтобы показать, каких видных людей, каких плодovitых ученых и писателей выпускал названный институт» (*Менделеев Д. Заметки о народном просвещении России*. СПб., 1901. С. 20). Очевидно, все это сообщит дополнительную глубину и убедительность разъяснениям Страхова, когда он будет знакомить Достоевского с принципами неевклидовой геометрии, которая займет важное место в философских построениях «Братьев Карамазовых».

\*\* Вообще одним из любопытных явлений середины прошлого века является то, что в журнальных полемиках сторонниками материализма выступали часто люди гуманитарного образования (Чернышевский, Добролюбов, Писарев), а в роли защитников «эстетики», идеализма вообще и религиозных воззрений в частности — естественники: Д. Аверкиев, Н. Соловьев, тот же Страхов. Впрочем, нечто подобное имеет место и в дальнейшей борьбе идеализма с материализмом и в начале XX века, и в наше время.

ряющие особые теоретические потребности ума и, наконец, как питающие эстетическое чувство» \*.

Собственные работы Страхова в этой области разнообразны. «Теоретические потребности ума» были удовлетворены прежде всего в работах «Мир как целое» и «Об основных понятиях физиологии и психологии». Уже с конца 50-х годов на протяжении ряда лет Страхов ведет в «Журнале министерства народного просвещения» отдел «Новости естественных наук». Позднее, с 1874 года, в роли члена ученого комитета этого министерства Страхов должен был рецензировать все новое, что появлялось в области естественной истории — собственно, в этом и состояла его служба в комитете. Немало Страхов и переводил книг по естествознанию как специального характера, вроде «Введения к изучению опытной медицины» Клода Бернара, так и более общего и популярного — «Жизнь птиц» Брема и другие.

Современный историк естествознания отмечает, что Страхов «был одним из талантливых интерпретаторов гегелевской диалектики, особенно в ее приложениях к естествознанию <...>. Среди писателей по вопросам естествознания Страхов выделяется глубокой философской культурой; он один из немногих в России пытался построить «диалектику природы», опираясь на новейшие достижения науки и понятийный аппарат гегелевской философии» \*\*.

Занятия точными науками, и особенно естественными, вернее, необходимость постоянно следить за их развитием, быть «в курсе» многое определили в облике Страхова. Он отводил таким наукам четкую, достаточно ограниченную область бытия. Позднее Страхов выступил, в частности, противником дарвинизма, рассматривая его как механическое понимание развития, для которого «наследственность есть не наследование развития, а только передача частиц, которая может случайно измениться» \*\*\*. Не отрицая важного значения конкретной деятельности Дарвина в качестве большого натуралиста-наблюдателя, Страхов скептически оценивал дарвинизм как общую теорию естествознания и уж тем более как общую теорию жизнеустройства, а такие попытки

\* *Страхов Н. О методе естественных наук и значении их в общем образовании.* СПб., 1865. С. 130.

\*\* *Гаврюшин Н. К. Мир как целое: Н. Н. Страхов о развитии естествознания // Природа. 1982. № 7. С. 100.*

\*\*\* *Страхов Н. Об основных понятиях психологии и физиологии.* СПб., 1886. С. 313.

истолкования дарвинова учения, кстати сказать, тогда имели место, вплоть до выхода в область астрономии.

Конечно, за спором Страхова о дарвинизме явно просматривается и более общий его спор с материализмом вообще.

Ожесточенная полемика о дарвинизме произошла позднее между Страховым и Тимирязевым. Страхов был здесь, впрочем, во-первых, не одинок (так, его решительно поддерживал, правда, не входя в прямую полемику, Л. Толстой, категорическим противником дарвинизма оказался Ушинский и некоторые другие) и, во-вторых, не очень оригинален.

Вообще, обладая колоссальной эрудицией, Страхов, по сути, не создал ничего подобного общей системе воззрений ни в философии, ни в естествознании. Может быть, поэтому-то и для работ самого Страхова характерна известная мозаичность. В то же время каждая из таких «мозаик» отличается предельной отделанностью и законченностью. Недаром Достоевский говорил Страхову: «Вы все стараетесь для полного собрания своих сочинений!»<sup>\*</sup> И действительно, издавая в дальнейшем свои сочинения отдельными книгами, Страхов почти без изменений переносит туда журнальные публикации. Они уже как бы подготовлены для книг. Вообще его книги есть, по сути, собрания статей, а не изложение некоего законченного положительного учения; это критические рассмотрения созданного другими, а не создания собственного. В смысле критики других Страхов, может быть, самый последовательный в нашей литературе тип критика, и здесь он тоже противостоит нашим революционным демократам, чьи статьи не только критика, но и постоянное созидание и проповедь.

Очевидно, это обстоятельство тоже способствовало тому, что верх в полемических столкновениях 60-х годов неизменно одерживали передовые критики. Отрицание и скепсис консерватора неизменно побеждались тогда утверждением и энтузиазмом деятелей прогресса. Недаром сам Страхов однажды признался в письме Толстому, что всегда брал «отрицательную задачу»<sup>\*\*</sup>.

<sup>\*</sup> *Никольский Б. В.* Николай Николаевич Страхов. С. 220.

<sup>\*\*</sup> Так и в случае с дарвинизмом: его взгляды были скорее отчасти развитием, отчасти изложением взглядов Н. Я. Данилевского, известного ботаника и философа, одно время даже директора знаменитого Никитского ботанического сада. Выпускник Царскосельского лицея, в молодости фурьерист, Данилевский привлекался еще по делу своего лицейского одноклассника Петрашевского. Впрочем, вскоре все внимание он отдал естественным наукам, осваивая их четыре года в роли вольнослушателя Петербургского университета. Н. Я. Данилевский в течение ряда лет изучал мировую литературу, посвященную дарвинизму, задумав написать в опровержение его трехтомное ис-

С другой стороны, скептицизм Страхова был направлен и против того, чтобы естественные науки использовались в подкрепление всего рассматривавшегося им как шарлатанство. В этом смысле интересна позиция, занятая Страховым по вопросу о так называемом спиритизме, получившем одно время широкое распространение даже в академических кругах, где дань этому увлечению отдали такие крупные ученые, как химик Бутлеров. «Грустно было думать, что в эту цитадель науки,— писал тогда Страхов о Петербургском университете,— закрался и укрепился в ней явный враг научных понятий»<sup>\*</sup>. Очевидно, что и толстовские «Плоды просвещения» связаны с борьбой, которую вел со спиритизмом Страхов, полемизировавший, в частности, и с Бутлеровым, ибо Толстой, сочувствовавший Страхову, был постоянно в курсе этой полемики<sup>\*\*</sup>.

В целом постоянные занятия естественными науками способствовали тому, что у Страхова вырабатывались подчеркнуто трезвый взгляд на вещи, желание строго научного подхода; самый скепсис его как бы получал постоянную поддержку и обретал почву перед лицом строгих научных методик. Может быть, и поэтому Страхов, по сути, никогда не покусился на полное последовательное изложение своих позитивных воззрений. Получалась довольно странная вещь. С одной стороны, мы имеем дело с религиозным человеком. Но уже религиозным писателем или религиозным мыслителем в собственном смысле Страхова назвать трудно, ибо, держа этот принцип в уме, он, по сути, никогда его не излагал, прямо не защищал, не проповедовал. Так же, будучи в целом сторонником государственной монархической, «исторической» власти, Страхов не пропагандировал ее.

На протяжении почти всей жизни занимаясь проблемами философии, Страхов и здесь не оставил того, что можно было бы назвать общей теорией познания, более или менее цельной философской системой. Неизменно борясь с материализмом, он не сумел и не смог противопоставить ему никакого развитого позитивного

---

следование. В 1883 году он закончил лишь первый том. Смерть помешала Данилевскому завершить работу. Его труд «Дарвинизм. Критическое исследование» издал именно Н. Н. Страхов.

\* *Страхов Н.* О вечных истинах: Мой спор о спиритизме. СПб., 1887. С. IX.

\*\* Вообще отношения Страхова с учеными почти всегда были отношениями спора, полемики, противостояния. Вероятно, самый скепсис Страхова, оказываясь своеобразной проверкой, привлекал таких ученых. Так было с Тимирязевым, так было с Бутлеровым, так было с Менделеевым, с которым, будучи давними знакомцами, по свидетельству Страхова, они «спорили до ссоры». Так было с, казалось бы, столь близким Страхову Достоевским, с которым «они расходились во множестве вещей».

учения, и здесь пытаюсь ограничиться «отрицательными задачами». «Хотя меня зовут обыкновенно философом,— писал он,— но такие приятели, как Достоевский, Майков,— вся тянули меня на критику». Собственно философские штудии Страхова были многочисленны, и в этом смысле понятно, почему его обыкновенно называли философом. Следует учесть, что, помимо прочего, он был переводчиком обильной и разнообразной философской литературы. Страхов впервые перевел и в 1863 году напечатал в журнале «Якорь» «Введение в философию мифологии» Шеллинга. Им были сделаны первоклассные по своему времени переводы четырехтомной «Истории новой философии» Куно Фишера, его же «Бекона Берулемского», «Об уме и познании» Тэна, «Истории материализма» Ланге. Но и здесь, в философии, Страхов действительно был прежде всего критиком, осваивавшим чужое и критически его рассматривавшим. Такова и единственная собственно философская работа Страхова «Философские очерки».

Пройдя школу классической немецкой философии, прежде всего гегельянства, Страхов вынес из нее способность к четким диалектическим рассуждениям и историзм мышления, которые, конечно, много способствовали усилению в нем критического, аналитического начала. В этой школе в большой мере сформировались и его взгляды на характер искусства, на роль художника и т. п. Именно там сложились и укрепились и его представления о великом значении разума, о могучей силе познания. В этом смысле Страхов всегда оставался рационалистом.

В то же время разуму им отводилась достаточно ограниченная площадка и достаточно пассивная роль перед лицом общежизненных стихий. В этом смысле Страхов всегда оставался антирационалистом, и здесь тоже лежит один из истоков страховского противостояния просветительству с его культом разума и универсализацией значения разума. «Вы ведь,— обращается Страхов к просветителям, рационалистам, «теоретикам», как он их называл,— и им (земледеи́ем — Н. Ск.) вертите в ваших мечтах как попало. Вы вообразили, что оно совершенно в вашей власти, что стоит вздумать — и оно процветет; а если не процветает, так это оттого, что не вздумано» \*.

Страхов, оставаясь рационалистом, прошел весь путь антирационализма, выходя к философии Шопенгауэра, которая увлекала его, как и его ближайших друзей — Льва Толстого, Афанасия Фета. В то же время, подобно Льву Толстому (но не Фету), скептик

---

\* Страхов Н. Из истории литературного нигилизма: 1861—1865. СПб., 1890. С. 99.

Страхов отверг конечные «скептические», то есть глубоко пессимистические, выводы этой философии. «Страшный смысл имеет в моих глазах — отрицать все твердое в нравственности», — писал он о философии Шопенгауэра. Но противопоставил ей Страхов только религию, только веру, опять-таки исходя с собственно философской почвы или, вернее, даже и не пытаясь на нее встать.

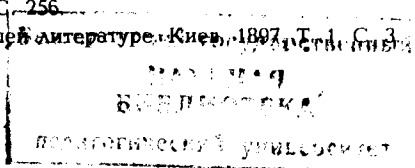
Интересно, что, очевидно, именно скептицизм позволил Страху так близко ощутить родственную стихию скепсиса у Герцена. Скепсис и пессимизм Герцена, его борьба с Западом и вера в Россию — все это должно было привлечь и привлекло внимание Страхова и позволило ему написать много сильных и пронизательных страниц о Герцене. В книге «Борьба с Западом в нашей литературе» он подробно остановился на деятельности скептиков и антирационалистов Запада (Ренана, Милля, и др.), а начал он книгу с подробного рассмотрения Герцена — этого, по характеристике Страхова, «отчаявшегося западника». Страхов увидел в Герцене «одно из самых крупных имен нашей литературы» и с большой силой ощутил и выразил то, что он называет в Герцене пессимизмом. Вспомним, что Ленин определил состояние Герцена после 1848 года как «глубокий скептицизм и пессимизм». Но Ленин видел и объяснял прежде всего только их социально-исторические истоки: «Духовная драма Герцена была порождением и отражением той всемирно-исторической эпохи, когда революционность буржуазной демократии уже умирала (в Европе); а революционность социалистического пролетариата еще не созрела»<sup>\*</sup>. Страхов дает не социальные, общественно значимые объяснения позиции Герцена, но видит истоки такого пессимизма в изначальной природе личности и дарования Герцена и потому, как принято сейчас говорить, экстраполирует пессимизм на все этапы и все стороны его деятельности: «По всему своему душевному строю, по своим чувствам и взгляду на вещи Герцен был от начала до конца своего поприща пессимистом, т. е. темная сторона мира открывалась ему яснее, чем светлая... Вот где ключ к разгадке литературной деятельности Герцена, вот где нужно искать истоки ее главных достоинств и недостатков»<sup>\*\*</sup>.

Для этого Страху пришлось проделать еще одну операцию: развести и противопоставить Герцена, писателя-мыслителя, и того Герцена, которого он называет агитатором и пропагандистом. Впрочем, при ближайшем и конкретном рассмотрении критик должен был признать: «Но кроме русского сердца, нам кажется,

\* Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 21. С. 256.

\*\* Страхов Н. Борьба с Западом в нашей литературе. Киев, 1897. Т. 1. С. 3.

489845



Герцену помогал и его ум, его теоретические взгляды. Фейербахизм и социализм в той строгой глубокой форме, в какой их держался Герцен, составляет неправильную, но все-таки чрезвычайно высокую точку зрения \*.

Заключительную главку-прибавление своей работы о Герцене Страхов назвал «Предсказанием». Нельзя сказать, чтобы он отвлекся от истории, но его взгляд — это, так сказать, выражение исторического пессимизма: «... Герцен предвидел будущую роль Бисмарка, предвидел нашествие ученых варваров на латинскую классическую Европу (Италию и Францию) и предсказал, что оно будет страшно по размерам смертоубийства и будет наказанием Франции за ее нравственное падение.

Герцен вообще мрачно смотрел на вещи: он всюду ждал беды, ждал гибели. Мы видим, однако же, что этот мрачный взгляд не происходил из одного мрачного настроения, что он содержит в себе великую долю правды: зловещие пророчества сбываются» \*\*.

Нельзя не видеть, что многие характеристики скепсиса и пессимизма Герцена есть у Страхова не что иное, как выражение собственного скепсиса и пессимизма.

Скепсис Страхова, подчас столь универсальный, что, как видим, он умел вставать в скептическое отношение даже к самому себе, вряд ли можно рассматривать лишь как некий психологический феномен. Здесь заявляла себя прежде всего позиция консерватора. Очень ясно проявилась она и в собственно литературной критике.

Страхов-литератор в узком смысле, Страхов — литературный критик и журналист — начал в кружке братьев Достоевских. В конце 1859 года Страхов стал бывать на литературных вторниках своего сослуживца А. П. Милюкова, фактического руководителя журнала «Светоч». «С первого вторника, когда я явился в этот кружок, я считал себя как будто принятым, наконец, в общество настоящих литераторов и очень всем интересовался. Главными гостями А. П. оказались братья Достоевские, Федор Михайлович и Михаил Михайлович, давнишние друзья хозяина... Разговоры в кружке занимали меня чрезвычайно. Это была новая школа, которую мне довелось пройти, школа, во многом расходившаяся с теми мнениями и вкусами, которые у меня сложились. До того времени я жил тоже в кружке, но в своем, не публичном и литературном, а совершенно частном. Тут господствовало большое поклонение науке, поэзии, музыке, Пушкину, Глинке; на-

\* *Страхов Н.* Борьба с Западом в нашей литературе. С. 98.

\*\* Там же. С. 137.



строение было очень серьезное и хорошее. И тут сложились взгляды, с которыми я вступил в чисто литературный кружок. В то время я занимался зоологией и философией и потому, разумеется, прилежно следил за немцами, в них видел вождей просвещения... У литераторов оказалось другое... Направление кружка сложилось под влиянием французской литературы, политические и социальные вопросы были тут на первом плане и поглощали чисто художественные интересы» \*. Именно Достоевский, по свидетельству Страхова, прежде всего увидел в нем писателя. «Хотя я имел уже маленький успех в литературе и обратил на себя некоторое внимание М. Н. Каткова и А. А. Григорьева, все-таки я должен сказать, что больше всего обязан в этом отношении Ф. М. Достоевскому, который с тех пор отличал меня, постоянно одобрял и поддерживал и усерднее, чем кто-нибудь, до конца стоял за достоинством моих писаний» \*\*.

Сразу по учреждении Достоевским своего журнала «Время» Страхов был приглашен в качестве одного из главных сотрудников. Журнальная работа так захватила его, что он даже вышел в 1861 году в отставку. Эта журнальная деятельность продолжалась на протяжении многих лет, хотя и не была отмечена внешними успехами. После прекращения журналов Достоевских Страхов в 1867 году редактировал «Отечественные записки» — до передачи их издателем А. А. Краевским в 1868 году в руки Некрасова. В течение двух лет он, опять-таки без особого успеха, возглавлял журнал «Заря», в 1872 году закрывшийся. По сути, на этом и завершилась его журнальная работа. «Я увидел, — пишет Страхов в своей автобиографии, — что работать мне негде. «Русский вестник» был единственным местом, но деспотический произвол Каткова был для меня невыносим. Я решил поступить на службу и с августа 1873 года принял место библиотекаря Публичной библиотеки по юридическому отделению».

В течение всего периода сотрудничества Страхова во «Времени» и в продолжившей его после закрытия «Эпохе» достаточно четко оформилось то общественное и литературное движение, которое и получило название «почвенничества» и которое в журналах Достоевских было прежде всего представлено статьями Ф. М. Достоевского, Ап. Григорьева и Н. Н. Страхова — главных идеологов «Времени».

Обличая оторванность образованного общества от народа, почвенники ратовали за сближение с народом, с «почвой», в которой

\* Никольский Б. В. Николай Николаевич Страхов. С. 180—183.

\*\* Там же.

они видели подлинное выражение русского национального характера. При этом почвенничество отличали враждебность к буржуазному прогрессу и, соответственно, резко отрицательное отношение к буржуазному Западу, при прекрасном знании западной культуры. Почвенники не принимали ни революции, ни революционных идей, ни их носителей. В революции и революционерах они видели лишь разрушительное начало, а в желании привить революционность на русскую почву — плод кабинетного теоретизирования, бесплодный, хотя и отнюдь не безвредный, утопизм.

Во многом в связи со всем этим кругом проблем решались и вопросы о месте искусства, о его задачах, о роли художника и т. п., а также давались те или иные конкретные оценки. Естественно, что отношения с революционно-демократическими изданиями, собственно с «Современником», первоначально определившиеся как осторожное, даже доброжелательное прощупывание (Некрасов отметил выход первого журнала Достоевских приветливыми шутивными стихами и передал ему для публикации некоторые свои стихи, уже отнюдь не шутивные), вскоре стали настроенными и наконец перешли во враждебные.

Полемика, начавшаяся еще при Добролюбове и Чернышевском, продолжалась и позднее (со стороны «Современника» ее вели прежде всего Салтыков-Щедрин и Антонович). Страхов писал свои полемические статьи под псевдонимом «Н. Косица», псевдонимом не случайным, а бывшим демонстративным заявлением позиции Страхова: «Я имел дерзость выбрать себе образцом Феофилакта Косичкина»<sup>\*</sup>, то есть Пушкина, подписывавшего так свои направленные против Булгарина статьи. Надо сказать, что и в этой полемике, в отличие даже от Достоевского, Страхов прежде всего решал «отрицательные задачи», в наименьшей мере развивая позитивную программу, беря на себя собственно критику и, естественно, на себя вызывая огонь своих оппонентов. В условиях все нараставшей общественной борьбы, перед лицом могучей даже в жестких цензурных условиях пропаганды, которую вел «Современник», позиция Страхова не имела успеха. Более того, прямая полемика с революционно-демократической критикой и связанные с нею уже собственно литературные оценки и характеристики (позднее почти все материалы этого рода Страхов объединил в книге «Из истории литературного нигилизма»), — конечно, не самая привлекательная страница в писаниях Страхова. Отчасти это понял позднее и сам Страхов. «Что же я сделал? — писал он. — Я стал смеяться над ними, стал вступаться

<sup>\*</sup> Никольский Б. В. Николай Николаевич Страхов. С. 236.

за логику, за Пушкина, за историю, за философию. Шутки мои едва ли многим были понятны и только покрыли мое имя позором» \*.

Дело, однако, было не только в «логике» и «философии». Может быть, здесь многое тогда было действительно лишь немногим понятно. Однако многим было понятно другое: консерватизм, антиреволюционность позиции критика. Вот откуда шел «позор».

В собственно литературной критике Страхов считал себя наследником Ап. Григорьева, с которым был достаточно близок, которого издавал и пропагандировал. Именно Григорьева Страхов считал создателем русской критики, а принцип «органической критики», разработанный Ап. Григорьевым,— основным принципом критического рассмотрения, ибо и само искусство жизненно, органично, в отличие от аналитической науки, синтетично, естественно. Думается, постоянная приверженность к естествознанию и размышления над сутью органической природы придали принципу органической критики у Страхова дополнительное своеобразие.

Наиболее сильные стороны критической деятельности Страхова реализовались не в журнально-полемических боях начала шестидесятых годов. Правда, и тогда им была написана одна из лучших его критических работ — статья о романе Тургенева «Отцы и дети». Представление о романе, как его выразил Страхов, по-видимому, было общим для деятелей «Времени». Все это сообщает страховской статье дополнительный интерес, и вот какой.

Известно, что роман привлек пристальное внимание Достоевского и Достоевский писал о нем Тургеневу. Тургенев считал этот отзыв лучшей критикой романа и наиболее глубоким пониманием его. Письмо Достоевского утеряно, об отзыве его мы можем судить лишь по косвенным свидетельствам, в частности и по свидетельству Тургенева: «Вы до того полно и тонко схватили то, что я хотел выразить Базаровым, что я только руки расставлял в изумлении — и от удовольствия. Точно Вы в душу мне вошли и почувствовали даже то, что я не счел нужным вымолвить» \*\*.

Можно восстановить основную идею отзыва Достоевского на основе хотя бы «Зимних заметок о летних впечатлениях», где Достоевский писал о беспокойном и тоскующем Базарове («признак великого сердца»). Именно в этом ключе рассмотрен образ Базарова в статье Страхова о тургеневском романе, понимавшемся

\* Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. СПб., 1914. С. 447.

\*\* Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. М.-Л., 1962. Т. 4. Письма. С. 358.

обычно, за исключением статьи Писарева, либо как карикатура на новое поколение вообще и на Добролюбова в частности (Чернышевским и Антоновичем в «Современнике»), либо как апологетика новых людей (большею частью консервативной критики).

Трагизм Базарова — вот что увидели Страхов и стоявший с ним тогда рядом Достоевский. Многие исходные критические принципы Страхова, будучи приложены к роману Тургенева, обернулись, наконец, и своей сильной стороной. Так, понимание ограниченности и полноты жизни позволили критику увидеть и жизненность героя, и то драматическое отношение, в которое вставал он к жизни в целом: «... при всей резкости и деланности своих проявлений — Базаров человек вполне живой, не фантом, не выдумка, а настоящая плоть и кровь. Он отрицается от жизни, а между тем живет глубоко и сильно... Глядя на картину романа спокойнее и в некотором отдалении, мы легко заметим, что хотя Базаров головою выше других лиц... есть, однако же что-то, что в целом стоит выше Базарова. Что же это такое? Всматриваясь внимательнее, мы найдем, что это высшее — не какие-нибудь лица, а та жизнь, которая их воодушевляет... Те, которые думают, что ради умышленного осуждения Базарова автор противопоставляет ему какое-нибудь из своих лиц, например, Павла Петровича, или Аркадия, или Одинцову — странно ошибаются. Все эти лица ничтожны в сравнении с Базаровым. И, однако же, жизнь их, человеческий элемент их чувств — не ничтожны... Общие силы жизни — вот на что устремлено его (Тургенева. — *Н. Ск.*) внимание. Он показал нам, как воплощаются эти силы в Базарове, в том самом Базарове, который их отрицает... Базаров это титан, восставший против своей матери-земли; как ни велика его сила, она только свидетельствует о величии силы его породившей и питающей, но не равняется с матернею силою»<sup>1</sup>.

Представление о «вечном», «абсолютном» характере искусства позволило критику увидеть в романе смысл, рожденный определенным временем, но далеко выходящий за его рамки: «Написать роман с прогрессивным или ретроградным направлением еще вещь не трудная. Тургенев же имел притязания и дерзость создать роман, имеющий всевозможные направления... он имел в виду гордую цель во временном указать на вечное и написал роман не прогрессивный и не ретроградный, а, так сказать, всегдашний... Если Тургенев изобразил не всех отцов и детей, или не тех отцов и детей, каких хотелось бы другим, то вообще отцов и вооб-

---

*Страхов Н. П.* Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом: 1862—1885. Киев, 1901. Т. 1. С. 28, 34, 37.

ще детей и отношение между этими двумя поколениями он изобразил превосходно» \*. Страхов очень глубоко понял именно трагическую сторону и во взаимоотношениях Базарова с искусством. Цитируя статью Писарева, в которой тот рассматривает отрицание Базаровым искусства как непоследовательность, Страхов пишет как раз о последовательности Базарова, видит в этом не противоречивость Базарова, а его цельность и верность себе. «Очевидно, что Базаров смотрит на вещи не так, как г. Писарев. Г. Писарев, по-видимому, признает искусство, а на самом деле он его отвергает, то есть не признает за ним его настоящего значения. Базаров прямо отрицает искусство, но отрицает потому, что глубже понимает его... В этом отношении герой Тургенева несравненно выше своих последователей. В мелодии Шуберта и в стихах Пушкина он ясно слышит враждебные начала; он чует их всеувлекающую силу и потому вооружается против них» \*\*.

Наконец, острое ощущение национальной жизни позволило Страхову увидеть в Базарове не только общественное явление, социальный характер, но и национальный тип — ощущение, которое, очевидно, испытывали при восприятии Базарова Достоевский и сам Тургенев, сравнивавший, как известно, Базарова с Пугачевым. Самую силу отрицания искусства у Базарова как значение времени Страхов возвел и в более общую степень: «Конечно, искусство непобедимо и содержит в себе неистощимую, вечно обновляющуюся силу; тем не менее веяние нового духа, которое обнаружилось в отрицании искусства, имеет, конечно, глубокое значение. Оно особенно понятно для нас, русских. Базаров в этом случае представляет живое воплощение одной из сторон русского духа. Мы вообще мало расположены к изящному: мы для этого слишком трезвы, слишком практичны. Сплошь и рядом можно найти между нами людей, для которых стихи и музыка кажутся чем-то или приторным или ребяческим. Восторженность и высокопарность нам не по нутру, мы больше любим простоту, едкий юмор, насмешку. А на этот счет, как видно из романа, Базаров сам великий художник...» \*\*\*. «Все в нем необыкновенно идет к его сильной натуре. Весьма замечательно, что он, так сказать, более русский, чем все остальные лица романа. Его речь отличается простотой, меткостью, насмешливостью и совершенно русским

\* *Страхов Н.* Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом. Т. 1. С. 33.

\*\* Там же. С. 14—15.

\*\*\* Там же. С. 16.

складом. Точно так же между лицами романа он всех легче сближается с народом, всех лучше умеет держать себя с ним» \*.

Любопытно, что под этим углом зрения Страхов посмотрел и на «новых людей» Чернышевского и даже воздал им должное. В статье «Счастливые люди», напечатанной в 1865 году в «Библиотеке для чтения», он писал о романе «Что делать»: «Роман не был бы возможен, если бы не было в действительности чего-нибудь соответствующего... Итак, эти новые люди существуют... Немецкие физиологи действительно ошиблись в своих характеристиках; есть человеческий тип, который не подходит под то, что до сих пор называлось человеком. Он явился недавно, явился на нашей земле, и, может быть, немцам и французам никогда не видеть у себя таких людей, хотя эти люди и воспитываются на немецких и французских книжках. Дело не в книжках, а в крови. Разве не слышна в этом типе частица русской силы?» \*\*.

Все это отнюдь не процеженные сквозь стиснутые зубы признания. Первоначальный текст статьи «Счастливые люди», предназначенный к печатанию в «Эпохе», а написанный еще в 1863 году вскоре после появления романа Чернышевского, очевидно, содержал даже более высокие его оценки, ибо цензура потребовала смягчения «особенных похвал романа» \*\*\*. Автор совсем не разделяет тех представлений о счастье, которые есть у автора и героев романа, но относится к ним в высшей степени серьезно.

Когда умер Добролюбов, Страхов откликнулся во «Времени» некрологом не только прочувствованным, но и во многом пронизательным и поучительным для дела понимания добролюбовских статей. Оценивая деятельность Добролюбова как самостоятельную, но «отрицательную» и «одностороннюю», в отличие от Белинского, который был «крепко связан со всем лучшим, что росло на русской земле в его эпоху», Страхов тем не менее признает: «Только во времена Добролюбова «Современник» был единственным журналом, которого критический отдел имел вес и который вместе постоянно и ревниво следил за литературными явлениями» \*\*\*\*.

Думается, что за всем этим стоит чуткое ощущение того, что статьи наших великих критиков, революционных демократов действительно не только оценка того или иного произведения.

\* Страхов Н. Критические статьи... Т. 1. С. 23.

\*\* Страхов Н. Из истории литературного нигилизма.— С. 340.

\*\*\* См. об этом: Нечаева В. С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Эпоха». 1864—1865. М., 1975. С. 209—212.

\*\*\*\* Страхов Н. Критические статьи... Киев, 1902. Т. 2. С. 291.

Они — критика, но и нечто большее. Они — и творчество сами по себе. Можно представить тип статьи, имеющий значение и цену лишь в отношении к рассматриваемому произведению. Лучшие статьи Белинского или Добролюбова — и безотносительная ценность. В этом смысле они отличны от большинства статей того же Страхова, чаще всего только критика, а не создателя.

Этот творческий момент даже у своих противников Страхов не мог не видеть и не мог не говорить о нем. Недаром он писал о Добролюбова: «Если бы он остался жить, мы бы многое от него услышали».

Позднее Страхов иначе, то есть гораздо более отрицательно, оценивал и тип «нигилиста» как общественное явление, и литературу, его запечатлевшую, в частности, роман «Отцы и дети». Все это так. Но и на этом он не остановился, хотя дело и не обошлось без вмешательства извне, а именно со стороны Л. Толстого, решительно и гневно осудившего нападки на «нигилистов» и сразу за словами увидевшего суть дела. В ответ на оправдания Страхова по поводу того, что тот лишь отрицает отрицание, Толстой заявил: «Я говорю, что отрицать то, что делает жизнь, значит не понимать ее. Вы повторяете, что отрицаете отрицание. Я повторяю, что отрицать отрицание, значит не понимать того, во имя чего происходит отрицание. Каким образом я оказался с Вами, не могу понять.

Вы находите безобразие. И я нахожу. Но Вы находите его в том, что люди отрицают безобразие, а я в том, что есть безобразие... До сих пор уяснилось безобразие рабства, неравенства людей, и человечество освободилось от него, и теперь уясняется безобразие государственности, войн, судов, собственности, и человечество все работает, чтобы сознать и освободиться от этих обманов» \*. «Относительно моего нигилизма,— оправдывался Страхов.— Вы правы: все мое писание имеет односторонний вид и может быть принято за брань на нигилистов. Так это многие поняли; воздерживаясь от всякого суждения о существующем порядке и не воздерживаясь от самых разных суждений о нигилизме, я непременно впадаю в адвокатские приемы, в лукавство газетчиков; да, молчать лучше, чем говорить» \*\*.

Еще позднее Страхов писал Толстому: «Нигилизм и анархизм — ведь это очень серьезные явления в сравнении с тою болтовнею, которая составляет верх человеческого достоинства для Григоровичей и Фетов». И это не было лишь приноравливанием к Толстому. Ибо и с, казалось бы, прямо и предельно консерва-

\* Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. С. 294.

\*\* Там же. С. 290.

тивным Розановым он делился: «Это было общее движение, поток отрицания, захвативший почти всю литературу. Конечно, в основе лежат нравственные требования, стремление к общему благу, и в этом смысле можно сказать, что нигилисты дали литературе серьезное настроение, подняли все вопросы» \*. Это писалось в 1890 году, уже сравнительно незадолго до смерти.

При безусловном отрицании всех революционных программ как прошлого, так и настоящего, предельно честно признавалось отсутствие у самого Страхова какой бы то ни было программы. И чем ближе к концу, тем с большей силой это ощущалось. В этом смысле, да и во многих других переписка Страхова с Толстым являет собой замечательный человеческий документ. Недаром сам Толстой считал самыми интересными свои письма двум лицам: С. С. Урусову и Н. Н. Страхову. Недаром С. А. Толстая уже после смерти мужа многократно отмечает в «Дневнике»: читали... читала... читаю... письма Н. Н. Страхова и Льва Николаевича \*\*.

Исповедуясь (трудно назвать это другим словом у обычно довольно сдержанного Страхова) Толстому, Страхов пишет: «В эпоху наибольшего развития сил (1857—1867) я — не то что жил, а поддался жизни, подчинился искушениям; но я так измучился, что потом навсегда отказался от жизни. Что же я делал собственно и тогда, и потом, и что делаю теперь? То, что делают люди отжившие, старики. Я *берегся*, я старался ничего не искать, а только избегать тех зол, которые со всех сторон окружают человека. И особенно я *берегся* нравственно... А затем — я служил, работал, писал — все лишь настолько, чтобы не зависеть от других, чтобы не было стыдно перед товарищами и знакомыми. Во время литературства я помню, как я сейчас же останавливался, как только видел, что денег наработано довольно. Составить себе положение, имущество — я никогда об этом не заботился. Так что все время я не жил, а только *принимал* жизнь, как она приходила... За это, как Вы знаете, я и наказан вполне. У меня нет ни семьи, ни имущества, ни положения, ни кружка — ничего нет, никаких связей, которые бы соединяли меня с жизнью. И сверх того, или, пожалуй, вследствие того, я не знаю, что мне думать. Вот Вам моя исповедь, которую я мог бы сделать несравненно более горькою» \*\*\*. В ответ на убеждения и доказательства Толстого, что это положение невозможно, так как при нем жить нельзя, Страхов резюмировал: «Я и не живу» \*\*\*\*.

\* Розанов В. Литературные изгнанники. СПб., 1913. Т. 1. С. 236—239.

\*\* См.: Толстая С. А. Дневники: В 2 т. М., 1976. Т. 2. С. 385, 389, 401 и др.

\*\*\* Переписка А. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. С. 165—166.

\*\*\*\* Там же. С. 171.



Из всего этого, конечно, не следует, чтобы Страхов был безыдеальным человеком. Положительные начала, как он их понимал, — о программе в смысле программы действий и их пропаганды в буквальном значении говорить не приходится — располагались прежде всего в двух сферах: в более земной и реальной — Россия, в более идеальной и метафизической — религия.

Страхова часто называли и называют славянофилом. Не слишком точно. Хотя Страхова объединяет со славянофилами категорическое неприятие Запада, прежде всего буржуазного, и вера в самобытный путь развития России, тем не менее ко многому в славянофильской идеологии, и более ранней и более поздней, он относился критически. Такое критическое отношение к славянофильству было характерно для всех почвенников уже в 50—60-е годы. Позднее представления Страхова о России, ее месте, особенностях и роли во всемирной истории обрели определенное теоретическое обоснование. Но опять-таки не оригинальное, страховское; он снова свое находил у *другого*. Как в сфере естествознания (в критике дарвинизма), так и в сфере исторических построений Страхов опирался на идеи Н. Я. Данилевского, в последнем случае разработанные в труде «Россия и Европа».

Концепция исторического развития Данилевского основывалась на той идее, что история человечества есть не прогресс некоего общего ряда, единой цивилизации, а существование частных цивилизаций, развитие отдельных культурно-исторических типов. Среди них есть и такой, как славянство. Все это, по сути, уже снимало вопрос о мессианской роли славянства вообще, России в частности. Тем не менее именно в России Данилевский усматривал первый и самый полный, пользуясь его терминологией, «четырех-основной» (то есть синтезирующий, гармонизирующий четыре начала: религию, культуру, политику, экономику) тип. Правда, скорее в возможности, но такой, для реализации которой нация созрела: «Русский народ и русское общество во всех слоях своих способно принять и выдержать всякую дозу свободы» \*.

Страхов в духе Н. Я. Данилевского рассматривал Россию как самобытное явление и особый тип духовной жизни. Впрочем, Страхов очень критически смотрел на характер духовного развития страны, в частности, и на развитие нашей литературы. «Бедна наша литература» — довольно устойчивый критический рефрен Страхова, давший, наконец, название целому большому очерку «Бедность нашей литературы».

\* Данилевский Н. Я. Россия и Европа. СПб., 1888. С. 57.

Однако «чувство нашей духовной несостоятельности еще не есть доказательство такой несостоятельности». Потому-то «первая наша бедность есть *бедность сознания* нашей духовной жизни \*». Потому-то Страхов дает столь резко отрицательные оценки тургеневскому «Дыму» (в особой об этом романе статье): «...не дым все русское». И прежде всего за потугинские нападки на Россию: «Вообще, замечания г. Потугина иногда остроумны, но в целом удивительно мелки и поверхностны и доказывают, что русская жизнь может показаться дымом только тому, кто эту жизнь не живет, кто не участвует ни в едином ее интересе. Темна, бедна русская жизнь — кто говорит! Но от этого русским людям как людям живым бывает трудно и тяжело жить, а не летят они по ветру с легкостью дыма. В самих шатаниях и увлечениях, которые, по-видимому, хочет казнить г. Тургенев своею повестью, мы очень серьезны, доводим дело до конца, часто дорого-дорого за него платимся и, следовательно, доказываем, что мы живем и хотим жить, а не несемся, куда ветер повеет» \*\*.

Но есть ли у Страхова какие-либо аргументы в пользу такой серьезности и основательности «русской жизни», несмотря на ее бедность и темноту? Трезвый, скептический и строгий ум Страхова предполагал обращение к доказательствам бесспорным и таким, о которых он сам мог судить вполне компетентно. Доказательства брались из сферы русского искусства, русской литературы. Кстати сказать, эту же аргументацию позднее использует Данилевский. Говоря о прошлом русской литературы, он берет такие сравнения: «Чтобы найти произведение, которое могло бы стать наряду с «Мертвыми душами», должно подняться до «Дон-Кихота» \*\*\*. А говоря о ее настоящем, он уже не может найти никаких сравнений: «Пусть укажут нам на подобное произведение (речь идет о «Войне и мире». — Н. Ск.) в любой европейской литературе» \*\*\*\*.

Характерно, что и в статье о «Дыме» в споре с Потугиным — Тургеневым (ибо Страхов в отношении к России почти объединяет героя с автором — близость эту, как известно, не отрицал и сам Тургенев) Страхов обращается к Глинке. Страстный меломан, Страхов был большим знатоком русского и западного музыкального искусства: «Мы, например, любим музыку Глинки; серьезный, строгий музыкальный вкус развивается в нашей публике; имеются композиторы со своеобразными, неподдельными талан-

\* Страхов Н. Бедность нашей литературы. СПб., 1868. С. 3.

\*\* Страхов Н. Критические статьи... Т. 1. С. 60.

\*\*\* Данилевский Н. Я. Россия и Европа. С. 548.

\*\*\*\* Там же. С. 550.

тами; мы встречаем их с восторгом, и будущность русской музыки нам кажется несомненною. А нам говорят на это: „О, убогие дурачки-варвары, для которых не существует преемственность искусства!“ То есть, как же, дескать, вы надеетесь, что у вас будет русская музыка, когда ее еще нет? Забавное рассуждение! Ведь только на то и можно надеяться, чего еще нет. Но она есть, русская музыка! Сам Созонт Иванович говорит, что Глинка чуть было не „основал русской оперы“. А что, как он в действительности ее основал и вы ошибаетесь? С каким вы длинным тогда останетесь носом! Шутка ли — *русская опера!*» \*.

Правда, некоторые важнейшие стороны в развитии русского искусства оказались для Страхова почти наглухо закрыты. Так было в музыке. Любя и понимая Глинку, Страхов не понимал и не любил Мусоргского и ясно выразил это непонимание и эту нелюбовь в двух статьях-письмах «Борис Годунов на сцене», обращенных к редактору «Гражданина» Ф. М. Достоевскому. Страхову остались чужды и музыкальная форма оперы, в частности, тяга к речитативу, и отступление либретто от пушкинского текста (здесь он сошелся во мнении с музыкальными критиками — Ц. Кюи, например). Но главное — ему оказалось чуждо новое музыкальное направление в целом, его дух, его «философия»; он увидел в опере Мусоргского только «обличительство», подобное тому, которое он увидел, например, в поэзии Некрасова. Речь уже не об именах, а о целом направлении русского искусства.

В отношении же собственно к Некрасову Страхов пошел далеко назад даже в сравнении со своим учителем Ап. Григорьевым и соратником Ф. Достоевским. Конечно, свою роль играло и то обстоятельство, что Некрасов стоял во главе журналов, с которыми Страхов почти неизменно вел полемику. В 1870 году Страхов опубликовал в журнале «Заря» статью «Некрасов и Полонский». Из нее особенно ясно видно, что речь идет именно о направлении. Страхов даже называет поэзию Некрасова и поэтов, близких к некрасовским «Современнику» и «Отечественным запискам», «направленной». Уже в конце статьи критик сделал любопытное замечание общего характера: «Поэты! Слушайте вашего внутреннего голоса и, пожалуйста, не слушайте критиков. Это для вас самый опасный и вредный народ. Они все лезут в судьбы, тогда как должны были бы быть только вашими толкователями. Но толковать поэзию трудно, а судить — легко удивительно» \*\*.

\* *Страхов Н.* Критические статьи... Т. 1. С. 60.

\*\* *Страхов Н.* Заметки о Пушкине и других поэтах. СПб., 1888. С. 176.

Но, в сущности, именно на этот путь и встал сам Страхов. Он «судит» некрасовскую поэзию, по сути, почти ее не «толкую», — статья оказалась в основном посвящена Полонскому. Точнее, он судит направление, правда, из самого этого направления Некрасова выделяя: «Мы были бы чрезвычайно несправедливы к г. Некрасову, если бы смотрели на него, как на некоторого г. Минаева больших размеров, хотя так смотрит на себя сам г. Некрасов, хотя в минаевщине он поставляет всю свою славу. В г. Некрасове есть нечто большее, чего нет в г. Минаеве и во всем направлении, которому они оба служат»<sup>\*</sup>.

В результате Страхов не написал ни о том «меньшем», что он видел в Некрасове («Особенно соблазнительно — написать такую критику на г. Некрасова. Статью можно было бы сделать преувеличенную...»), ни о том «большем», что он в нем ощущал («Отлагаем г. Некрасова до другого времени..., мы, собственно, собираемся хвалить нашего наиболее читаемого поэта. Итак, когда-нибудь мы будем хвалить г. Некрасова...»).

Почти все суждения Страхова о Некрасове отмечены этой двойственностью. Дело здесь не только в идеологической предвзятости, но и в неспособности понять и принять новую эстетическую систему. Характерно одно замечание о поэме «Мороз, Красный нос», сделанное Страховым еще в 1864 году в «Эпохе». Poleмизируя с «Русским словом», говорившим о невозможности светлых картин крестьянской жизни, как они предстали в предсмертном сне Дарьи, Страхов писал: «Какая прелесть! Эти стихи и выписываешь с наслаждением. Какая верность, яркость и простота в каждой черте»<sup>\*\*</sup>. И все же: «... несмотря на струи истинной поэзии, в целом поэма представляет странную уродливость» (ср. аналогичный отзыв в письме Толстому об опере Мусоргского — «чудище невообразимое»), а самое название поэмы для него юмористическое (!): «... зачем юмористическое название в этой печальной идиллии? К чему тут красный нос?»<sup>\*\*\*</sup>. Ухо меломана Страхова не слышит Мусоргского. Ухо знатока поэзии Страхова не слышит драматического контрапункта в поэтическом слове Некрасова.

Известно, что после смерти Некрасова Достоевский, по его словам, «взял все три тома Некрасова и стал читать с первой страницы». «Всю эту ночь, — вспоминает писатель, — я перечел чуть ли не две трети всего, что написал Некрасов, и буквально в первый

<sup>\*</sup> Страхов Н. Заметки о Пушкине и других поэтах. С. 153.

<sup>\*\*</sup> Страхов Н. Из истории литературного нигилизма. С. 553.

<sup>\*\*\*</sup> Там же. С. 553—554.

раз дал себе отчет, как много Некрасов как поэт занимал места в моей жизни! Как поэт, конечно» \*. Тогда же Страхов сообщал Толстому: «А Некрасов умирает — вы знаете? Меня это очень волнует. Когда он звал к себе обедать (в связи с переговорами о возможности напечатания в «Отечественных записках» «Анны Карениной». — Н. Ск.), я не пошел, но на похороны пойду. Его стихи стали для меня иначе звучать — какая сила...» \*\*. Вот уж истинно, по пророческому слову поэта: «И только труп его увидя, как много сделал он, поймут».

То же, что и об отношении Страхова к Некрасову, можно еще в большей мере сказать и об отношении его ко многим другим явлениям нового искусства, которое прежде всего отличала передовая мысль, отчетливая, направленная. Особенно несправедливые и злые характеристики неизменно получает у Страхова Щедрин — один из главных его противников в журнальной борьбе еще с 60-х годов. Отмечая «несомненную талантливость» Щедрина, Страхов тем не менее пытался создать, например, в позднейшей статье 1883 года «Взгляд на текущую литературу» явно окарикатуренный образ великого сатирика.

Страхов с большой настойчивостью говорил о бедности нашей литературы: «Бедна наша литература» — правда, добавляя при этом: «Но у нас есть Пушкин» \*\*\*. Споры ли о сути русской жизни и о ее возможностях, сомнения ли в богатстве русской литературы и ее будущем заставляли Страхова прибегать к одному бесспорному, все побивающему и абсолютному аргументу — к Пушкину.

По существу, Н. Страхов сказал о самом Пушкине не так уж много нового, повторяя Ап. Григорьева в основной идее своих пушкинских статей и Белинского в ряде как более существенных, так и более частных моментов. Но особую силу этим статьям придавало то обстоятельство, что первые из них рождались в обстановке, когда имя Пушкина вызывало равнодушие, а иногда даже подвергалось прямым нападкам, например, со стороны «Русского слова» (прежде всего Писарева). «Есть,— писал Страхов,— нечто безумное... есть нечто поразительно-безумное во многих суждениях и толкованиях, которым подвергался Пушкин... Прежде всего вас поражает безмерная диспропорция между предметом этих суждений и силами и приемами судящих. С одной стороны, вы видите людей с микроскопически-узкими и слепыми взглядами,

\* Некрасов в воспоминаниях современников. М., 1971. С. 482.

\*\* Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. С. 115—116.

\*\*\* Страхов Н. Бедность нашей литературы. С. 54.

с невероятно короткими мерками и циркулями, предназначенными для измерения и оценки великого явления... В наш многоумный век непонимание великого часто также идет за признак ума; между тем, в сущности, не составляет ли это непонимание разительного доказательства умственной слабости» \*.

С другой стороны, Пушкин, как явление новой послепетровской жизни и даже прямое следствие дел Петра (по известным словам Герцена, на вызов, брошенный Петром, Россия ответила сто лет спустя громадным явлением Пушкина) явно противоречит и славянофильским концепциям. «... Никому, впрочем, не тайна, — писал Страхов, — холодность наших славянофилов к нашему Пушкину. Она заявляется издавна и постоянно... Дорожа пониманием основных черт ее (русской жизни. — Н. Ск.) духа, они равнодушно, без боли отбрасывают родное явление, мешающее этому пониманию, разрушающее, как резкое исключение, их свято уважаемую теорию». Сама же сила отрицания Пушкина в 60-е годы увеличивала у Страхова силу его утверждения. Позднее Страхов с восторгом воспринял пушкинскую речь Достоевского как подтверждение правоты своего взгляда на Пушкина, как, впрочем, и верности точки зрения на Пушкина всей почвеннической партии, которую он даже называет пушкинской.

Многое сошло для Страхова в Пушкине. В Пушкине Страхов видел живой и, может быть, единственный настоящий и непрекращаемый залог русской жизни и русского национального характера. К «полному» творцу Пушкину с неотразимой силой влекся односторонний, не «творческий» теоретик Страхов, находя там исход и разрешение собственной неполноты, теоретичности и односторонности. С Пушкиным скептик Страхов мог, наконец, оставлять свои «отрицательные задачи» и становиться «утверждающим», энтузиастом и проповедником, ибо пушкинские статьи Страхова — это, так сказать, сплошная проповедь Пушкина — «главного сокровища нашей литературы».

Правда, говорить о более или менее полном рассмотрении Страховым творчества Пушкина не приходится. Страхов не случайно, объединяя позднее в книгу свои статьи о Пушкине, назвал ее «Заметками» и специально оговорил такой характер книги. Но дело не только в жанре. На многое в самом Пушкине — вольно или невольно — Страхов закрывает глаза. Так, «Историю села Горюхина» (Горюхина, в известном тогда подцензурном названии) Страхов соотнес с карамзинской «Историей государства Российского». Но беспспорная для нас сейчас возможность соотнесенности «Истории

\* Страхов Н. Заметки о Пушкине и других поэтах. — С. 17—18.

села Горюхина» с щедринской сатирой, например с «Историей одного города», очевидно, показалась бы Страху кощунственной и уж, конечно, была у него самого невозможна. А ведь в общем виде он справедливо писал: «Мы находим теперь, что, несмотря на множество, по-видимому, новых путей, которыми шла с тех пор русская литература, эти пути были только продолжением дорог, уже начатых или совершенно пробитых Пушкиным» \*.

Но, во всяком случае, один из таких путей новой русской литературы Страхов-критик соотнес с Пушкиным. В своих «Заметках» он лишь обмолвился: «Важность „Летописи“ (то есть „Истории села Горюхина“. — Н. Ск.) видна уже из того, что с нее начинается поворот в деятельности Пушкина, и он пишет ряд повестей из русской жизни, заканчивающийся „Капитанскою дочкою“. В развитии русской литературы едва ли есть пункт более важный; здесь мы ограничиваемся только тем, что указываем на этот пункт» \*\*.

Из всего написанного Страховым ясно, почему столь важен «этот пункт»: от него начинается в русской литературе движение, завершившееся в «Войне и мире».

В новой русской литературе Лев Толстой оказался для Страхова тем же явлением, что Пушкин в прошлой. И те же самые причины, внешние и внутренние, что влекли Страхова к Пушкину, толкнули его и к Толстому. Это опять-таки был и исход собственной внутренней неполноты, теоретичности, недостаточности. Потому-то Страхов и писал Толстому о необходимом для него «жгучем интересе взаимного ауканья»\*\*\*. Это было снова и безусловное подтверждение могучей жизненной силы России. Русская жизнь и русская литература вновь заявили себя в Толстом неотразимо: «Пока жива и здорова наша поэзия, до тех пор нет причины сомневаться в глубоком здоровье русского народа...» \*\*\*\*.

Именно применительно к Толстому с полной силой и проявилась знаменитая страховская способность понимания. Он не был творцом, но он с большой силой обнаружил способность понимания такого типа творца, как Лев Толстой, и такого типа творчества, как толстовское. Обнаружил, идя от себя, так сказать, «от противного». Впрочем, в Толстом Страхов увидел и подтверждение многих теоретических начал «органической» критики: «*Вера в жизнь* — признание за жизнью большего смысла, чем тот, какой способен уловить наш разум, — разлита по всему произведению

\* Страхов Н. Заметки о Пушкине и других поэтах. С. 36.

\*\* Там же. С. 54.

\*\*\* Переписка А. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. С. 305.

\*\*\*\* Страхов Н. Критические статьи... Т. 1. С. 309.

(речь идет о «Войне и мире». — Н. Ск.) графа Л. Н. Толстого; и можно было бы сказать, что на эту тему написано все это произведение... Таинственная глубина жизни — вот мысль «Войны и мира» \*. Самое столкновение Наполеона и Кутузова в «Войне и мире», в которых Страхов видел выражение двух противоположных жизненных типов — «хищного» и «мирного», просто, — он истолковывал в духе Ап. Григорьева.

Страхов даже полагал, что вообще именно он открыл в критике Толстого, которого, по его словам, не только не поняли, но даже вовсе о нем не говорили. Однако заявляя это в конце 60-х годов, Страхов должен был бы вспомнить, что Чернышевский «открывал» Толстого в цикле своих о нем статей в середине 50-х годов. Уже тогда Чернышевский писал: «... человек, умеющий понимать истинную красоту, истинную поэзию, видит в графе Толстом настоящего художника, то есть поэта с замечательным талантом. ... Мы предсказываем, что все, данное донныне графом Толстым нашей литературе, только залогом того, что совершит он впоследствии, но как богаты и прекрасны эти залого!» \*\*. Недаром еще в XIX веке один из авторов называл приписываемое себе Страховым право на открытие Толстого «высокомерной несправедливостью» \*\*\*.

Тем не менее, что касается позднего Толстого, во всяком случае от «Войны и мира», здесь Страхов обнаружил удивительные и понимание, и прозорливость. Честь открытия и утверждения в критике этого Толстого во многом действительно остается за ним. Свои статьи в «Войне и мире» Страхов даже называл критической поэмой в четырех песнях.

Страхов, чуть ли не единственный тогда критик, по сути, немедленно стал в то отношение к «Войне и миру», которое сам он позднее формулировал в предисловии к выпущенным в 1871 году отдельной книжкой своим статьям о «Войне и мире»: «Война и мир» есть также превосходный пробный камень всякого критического и эстетического понимания, а вместе и жестокий камень преткновения для всякой глупости и всякого нахальства. Кажется, легко понять, что не «Войну и мир» будут ценить по вашим словам и мнениям, а вас будут судить по тому, что вы скажете о „Войне и мире“» \*\*\*\*. Именно на таком понимании, оче-

\* Страхов Н. Критические статьи... Т. 1. С. 215—216.

\*\* Чернышевский Н. Г. Письма без адреса. М.: 1979. С. 140.

\*\*\* Гольцев В. Н. Н. Страхов как художественный критик // Гольцев В. О художниках и критиках. М., 1899. С. 121.

\*\*\*\* Страхов Н. Критические статьи... Т. 1. С. 312—313.



видно, возникло и то доверие, которым быстро проникся и постоянно испытывал по отношению к Страхову сам Толстой. Так, при подготовке «Войны и мира» к изданию в составе собрания сочинений 1873 года Толстой, в сущности, открыл принимавшему в нем участие Страхову *carte blanche*. «Еще просьба,— пишет Толстой Страхову 25 марта 1873 года, то есть всего через два года после знакомства,— я начал готовить «Войну и мир» ко второму изданию и вымарывать лишнее — что надо совсем вымарать, что надо вынести, напечатав отдельно. Дайте мне совет... Если Вы помните, что нехорошо, напомните... Если бы, вспомнив то, что надо изменить, и поглядев последние 3 тома рассуждения, написали бы мне, это и это надо изменить и рассуждения со страницы такой-то по страницу такую-то выкинуть. Вы бы очень, очень обязали меня».

Страхов немного и осторожно, но действительно правил Толстого, в частности стиль — там, где возникали грамматические не-правильности — галлицизмы. Оставляя в стороне собственно текстологическую сторону дела, обратим внимание на саму степень доверия, которую питал к Страхову Толстой. Другой пример. По-сылая в редакцию «Отечественных записок» статью «О народном образовании», Толстой в письме от 30 августа 1874 года обращается к редактору журнала Н. А. Некрасову: «... очень прошу Вас корректуры ее приказать пересылать Николаю Николаевичу Страхову (Публичная библиотека) и всякое изменение, сделанное им, принимать как бы мое» (курсив мой.— Н. Ск.).

Страхов, во-первых, установил прямую связь, которая существует между Пушкиным и Толстым, а именно между «Капитанской дочкой» и «Войной и миром». Во-вторых, он установил различие между ранними толстовскими произведениями и «Войной и миром». Наконец — и главное — Страхов первый в критике раскрыл смысл «Войны и мира» как русской героической эпопеи: «Художник дал нам новую русскую формулу героической жизни»<sup>\*</sup>. Эта формула основана, по Страхову, на уяснении русского идеала, впервые после Пушкина так ясно себя заявившего,— духа, который сам Толстой формулировал как дух простоты, добра и правды.

Под этим углом зрения знаменитый Платон Каратаев не только не выпадает из русской формулы героической жизни, но в известном смысле сводит ее к себе. Недаром именно в связи с Каратаевым несколько раз повторяются у Толстого слова о духе добра и простоты. Образ Каратаева-солдата и для Пьера естественно

<sup>\*</sup> Страхов Н. Критические статьи... Т. 1. С. 281.

и прямо связан с образом других солдат и общим образом войны как войны народной. «В лице Каратаева, — отмечал Страхов, — Пьер видел то, как русский народ мыслит и чувствует при самых крайних бедствиях, какая великая вера живет в его простых сердцах». Страхов называет еще такой тип героизма «смирным героизмом» (его несут и Кутузов, и Коновницын, и Тушин, и Дохтуров), в отличие от «деятельного», который, впрочем, виден не только во французах, но и во множестве русских людей (Ермолов, Милорадович, Долохов). «Вообще говоря, невозможно отрицать, чтобы... русский народ не порождал людей, дающих простор своим личным взглядам и силам...»

По Страхову, такой тип героизма у нас еще не нашел вполне своего поэта-выразителя. Мы можем еще только прозревать его. Толстой же прежде всего выразил иное: «Мы сильны *всем народом*, сильны тою силою, которая живет в самых простых и смиренных личностях, — вот что хотел сказать гр. Л. Н. Толстой, и он совершенно прав». Но дело не только в, так сказать, количественной силе, во внешней победе. «Если вопрос идет о силе, то он решается тем, на какой стороне победа, но простота, добро и правда нам милы и дороги сами по себе, все равно, победят они или нет... Огромная картина гр. Л.Н.Толстого есть достойное изображение русского народа. Это — действительно неслыханное явление — эпопея в современных формах искусства». Можно оспаривать ту или иную обобщающую формулу Страхова, но нельзя не видеть, что он первый сказал о «Войне и мире» как о народной книге.

О бедности русской литературы теперь уже говорить не приходится, и Страхов о ней не говорит: «Если теперь иностранцы спросят у нас о нашей литературе, ... мы прямо укажем на «Войну и мир», как на зрелый плод нашего литературного движения, как на произведение, перед которым мы сами преклоняемся, которое для нас дорого и важно не *за неимением* лучших, а потому, что оно принадлежит к самым великим, самым лучшим созданиям поэзии, какие мы только знаем и можем вообразить... Западные литературы в настоящее время не представляют ничего равного и даже ничего близко подходящего к тому, чем мы теперь обладаем» \*.

Уже в 1870 году Страхов уверенно проронил: «„Война и мир“ скоро станет настольною книгою каждого образованного русского, классическим чтением наших детей» \*\*. Казалось бы, достигнуты пределы признания и самых высоких оценок. И все же они

\* Страхов Н. Критические статьи... Т. 1. С. 308.

\*\* Там же. С. 308.

у Страхова нарастают, и это, конечно, тоже связано с тем, что толстовская книга продолжает жить в своем, как теперь говорят, функциональном значении. Она развивается подобно живому организму: оставаясь той же самой, она и другая. В 1887 году Страхов пишет Толстому о его книге как о вещи, уже от автора отстраненной, как о явлении совершенно самостоятельном, живущем своей жизнью, общение с которым может быть поучительно для автора, выступающего в роли читателя собственной книги: «Если Вы давно не читали «Войны и мира», то убедительно прошу и советую Вам — перечтите внимательно... Несравненная книга! До сих пор я не умел ценить ее как следует, да и Вы не умеете — так мне кажется».

Но нужно видеть в отношении Страхова к Толстому еще одну сторону. Толстой был для Страхова носителем могучих жизненных сил. «Я давно называл Вас самым цельным и последовательным писателем, но Вы, сверх того, самый цельный и последовательный человек», — писал Страхов. И несколько раньше: «Вы растянулись умом и сердцем во всю ширину земной жизни».

Так понимаемая жизнь Толстого должна была представляться Страхову совершенно безусловной и истинной в своем развитии. Поэтому Страхов со всем энтузиазмом воспринял позднейшие религиозные искания Толстого.

Думается, что Толстой, невольно, конечно, определил и дополнительную сложность отношений Страхова с Достоевским. Эти отношения как раз были лишены, несмотря на долговременную близость, предельной доверительности и — особенно — простоты, которые отличают отношения Страхова с Толстым. Сложная история эта многократно привлекала внимание исследователей. Факты таковы: Страхов был связан с Достоевским десятки лет и, так сказать, по работе, и дружески, семейно. О романе «Преступление и наказание» он напечатал в «Отечественных записках» в 1867 году одну из самых интересных статей. После смерти Достоевского Страхов написал о нем «Воспоминания», сохранившие ценность и документального свидетельства, и общего осмысления. Они стали введением к первому полному собранию сочинений писателя. Между тем, спустя некоторое время в письме Толстому от 28 ноября 1883 года он написал о Достоевском очень злые слова и сделал явно несправедливые, даже страшные обвинения. Письмо это было опубликовано в 1913 году, то есть через много лет после смерти в 1896 году Страхова. На него остро реагировала вдова Достоевского Анна Григорьевна, которая, сопоставив публичные «Воспоминания» с этим частным письмом, первая сказала

о лицемерии Страхова<sup>\*</sup>. И до сих пор пишут о его лицемерии. Между тем, дело явно обстоит сложнее...

«Он (Достоевский.— Н. Ск.),— сообщает Толстому Страхов,— был мой усерднейший читатель, очень тонко все понимал»<sup>\*\*</sup>. А. Г. Достоевская вспоминает (еще до знакомства с письмом Страхова Толстому), как дорожил беседами с ним Ф. М. Достоевский<sup>\*\*\*</sup>. С другой стороны, Достоевский уже опять-таки в частном письме говорит о Страхове: «Это скверный семинарист и больше ничего»<sup>\*\*\*\*</sup>. В тетради «для себя» Достоевский записывает: «Н. Н. <Страхов> в статьях своих говорил *обиняком*, по поводу, кружил кругом, не касаясь сердцевины. Литературная карьера дала ему 4-х читателей, я думаю, не больше, и жажду славы»<sup>\*\*\*\*\*</sup>. А в письме Страхову Достоевский пишет: «В конце концов я считаю Вас за единственного представителя нашей теперешней критики, которому принадлежит будущее»<sup>\*\*\*\*\*</sup>.

Что это, лицемерие? Очевидно, имела место сложность отношений и взаимосприятия: и дружба, и близость, и расхождения, и столкновения, все усиливающиеся. В «Воспоминаниях» о Достоевском Страхов не лгал, но в них он, по собственным, в «Воспоминаниях» же сказанным словам, возобновил «некоторые из лучших чувств» и, по словам, сказанным уже в письме Толстому, «налегал на литературную сторону...»: «Лично о Достоевском я старался только выставить его достоинства, но качеств, которых у него не было, я ему не приписывал»<sup>\*\*\*\*\*</sup>. В письме, говоря о Достоевском, он называет его и злым, и завистливым, и развратным, рисует, по его словам, другую сторону, дает комментарий к биографии, не отменяя самой написанной им биографии,— «но пусть эта правда погибнет». Тем более, что: «Я прибрал Достоевского, а сам верно хуже». В то же время и в письмах он с большой откровенностью (и с большей, чем в «Воспоминаниях») говорит о том, чем для него лично был Достоевский: «...чувство ужасной... пустоты не оставляет меня с той минуты, как я узнал о смерти Достоевского.

\* Очевидно, А. Г. Достоевская была бы сдержаннее, если бы она знала о похожих обвинениях, но уже в адрес Страхова, сделанных ранее Достоевским в одной из записей, и о том, что, разбирая архив Достоевского, Страхов, видимо, с нею ознакомился (см.: *Розсиблюм А. М. Творческие дневники Достоевского // Лит. наследство. М., 1971. Т. 83. С. 12*).

\*\* Переписка А. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. С. 273.

\*\*\* См.: *Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1971. С. 319.*

\*\*\*\* *Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1986. Т. 29. Кн. 2. С. 16*

\*\*\*\*\* *Литературное наследство. Т. 83. С. 619.*

\*\*\*\*\* *Достоевский Ф. М. Т. 29. Кн. 1. С. 17.*

\*\*\*\*\* Переписка А. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. С. 310.

Как будто провалилось пол-Петербурга или вымерло пол-литературы. Хотя мы не ладили все последнее время, но тут я почувствовал, какое значение он для меня имел» \*.

В «Воспоминаниях» запечатлено «значение». В письмах — не только оно, но и то, что «не ладили». Дело, впрочем, не в одной сложности отношений. Думается, что то, что предстало и было понято как некий феномен лицемерия, возникло на более принципиальной почве, а именно на религиозной.

В свое время исследователь творчества Достоевского А. С. Долинин писал: «Взгляды Достоевского — действительно «наполовину взгляды», высказанные ранним Страховым... Все эти мысли, если взять их изолированно, конечно, в высшей степени не оригинальны: любой «батюшка» произносил подобные речи с церковного амвона не один раз... В «Дневнике писателя», в особенности в «Поучении старца Зосимы», он повторяет их почти дословно» \*\*. Современный исследователь оспаривает подобную характеристику: «Великий художник-гуманист в тех же «Записках из подполья» ведет внутреннюю полемику и со страховской «рецептурой» переустройства мира на «идеалистических» началах. Страхову, напротив, все ясно, трудных проблем для него, в сущности, не существует, ему как бы заранее известны все возможные решения» \*\*\*. Думается, ортодоксальная религиозность Страхова здесь-то и искушалась и раздражалась исканиями Достоевского; недаром, чем дальше, тем больше определялись их расхождения. Он и хочет истолковать Достоевского, и в особенности «Братьев Карамазовых», в сугубо традиционном православном духе, и все же не всегда решается сделать это, и даже прямо пишет в «Воспоминаниях» о неопределенности у Достоевского-писателя «начал и принципов».

Достоевский недаром говорил, что он проходил через горнило испытаний, что тяжко далась ему его «осанна». Писателем испытывался, ставился под сомнение сам принцип религии, Бога. Искания Толстого самого принципа этого под сомнение не ставили. Все это отталкивало Страхова от Достоевского и влекло к Толстому и в этой области. Они тоже могли спорить — и многое у Толстого здесь Страхов резко осуждал, но это уже был спор единомышленников.

---

\* Там же. С. 266.

\*\* Шестидесятые годы. М.-Л., 1940. С. 244, 247—248.

\*\*\* Гуральник У. Н. Н. Страхов — литературный критик // Вопр. литературы. 1972. № 7. С. 142.

Потому-то Толстой, оспаривая те или иные оценки Страховым Достоевского-художника (его тезис о соотношении автора и героев и др.), почти не обращая внимания на все уже данные Страховым отрицательные характеристики Достоевского-человека, признавая огромные заслуги Достоевского как писателя-мыслителя, все же *упрекает* (в письме от 5 декабря 1883 г.) Страхова в *преувеличении* им роли Достоевского как пророка: «Мне кажется, вы были жертвою ложного, фальшивого отношения к Достоевскому, не вами, но всеми — преувеличения его значения и преувеличения по шаблону, возведения в пророки и святого,— человека, умершего в самом горячем процессе внутренней борьбы добра и зла. Он трогателен, интересен, но поставить на памятник в поучение потомству нельзя человека, который весь борьба».

Толстой и сам был «весь борьба». Но саму такую борьбу он одобрял, приветствовал, поощрял, хотя и пытался истолковать в своем духе: «... большую долю всемирной известности Толстого нужно приписать не его художественным произведениям, а именно тому религиозно-нравственному перевороту, который в нем совершился и смысл которого он стремился выразить и своими писаниями, и своею жизнью» \*. Под знаком этого начала Страхов все меньше говорит о Толстом-художнике. Позднейшие его статьи о Толстом — это прежде всего рассмотрение писателя с позиций того религиозно-нравственного переворота, который в нем совершился.

Достоевский Страхову писал удивительно широко, точно, смело и великодушно: «Кстати, заметили Вы один факт в нашей русской критике? Каждый замечательный критик наш (Белинский, Григорьев) выходил на поприще, непременно как бы опираясь на какого-нибудь передового писателя, то есть как бы посвящал всю свою карьеру разъяснению этого писателя <...>. Белинский заявил себя ведь не пересмотром литературы и имен, даже не статьей о Пушкине, а именно опираясь на Гоголя, которому он поклонялся еще в юношестве.

Григорьев вышел, разъясняя Островского и сражаясь за него. У вас бесконечная непосредственная симпатия к Льву Толстому с тех самых пор, как я вас знаю. Правда, прочтя статью Вашу в «Заре», я первым впечатлением моим ощутил, что она *необходима* и что Вам, чтоб по возможности высказаться, иначе и нельзя было начать как с Льва Толстого, то есть *с его последнего сочинения* \*\*.

\* *Страхов Н.* Воспоминания и отрывки... С. 135.

\*\* Достоевский Ф. М. Т. 29. Кн. 1. С. 16

Страхов писал много и о многих. Лучшие его статьи о Пушкине, Тургеневе, Достоевском сохраняют и ныне свое значение. Более того. Современный читатель без большого труда заметит, как органично вошли некоторые из мыслей и наблюдений Страхова в наши сегодняшние представления об этих писателях. Прежде всего это, конечно, относится к Толстому.

Страхов действительно стал чем-то вроде особого критика, уже как бы полностью Толстым поглощенного, специально при Толстом, для Толстого и о Толстом. «Вы ведь, — пишет он уже сравнительно незадолго до смерти, — много виноваты в моей философии и в том, что я пренебрегаю русскою литературою». Толстой многое затмил для Страхова-критика. Но трезвость взгляда, так отличавшая его лучшие оценки, не совсем изменяла Страхову: «Недавно я кое-что перечитал и кое-что вновь прочел: Гаршин, Короленко, Чехов — да ведь это серьезная литература — не чета Zola...» \*.

Великая литература русского реализма снова звала, обещала, обнадеживала старого критика: «Пока жива и здорова наша поэзия, до тех пор нет причины сомневаться в глубоком здоровье русского народа».

*Николай Скотов*

---

\* Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. С. 444.